

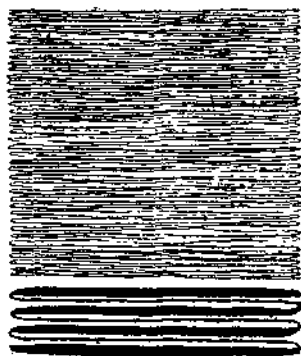
Сокровища Мировой  
Литературы

---

---

Геррих Зейн

Стихотворения

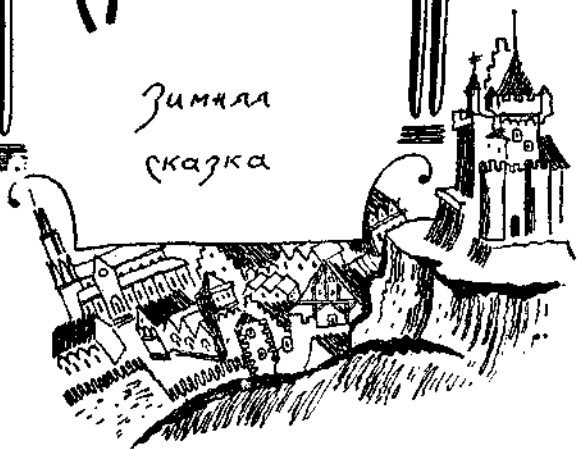


Академія  
Москва-Ленинград  
1931



# Германия

Земля  
сказка





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

То было печальной ноябрьской порой;  
Мрачнее день становился,  
Рвал ветер поблекшие листья с ветвей,  
И я в дорогу пустился.

И чуть до границы доехал, в груди —  
Почувствовал — застучало  
Сильней, и кажется даже, в глазах  
Мокренько будто бы стало.

И чуть я услышал немецкий язык,  
В душе у меня ощутилось  
Вдруг странное что-то: казалось, кровь  
Из сердца нежно сочилась.

Малютка-артистка запела; она  
И очень чувствительно пела,  
И очень фальшиво, но тронуть меня  
Игрой глубоко сумела.

Мне пела она про любовь, про ее  
Мученья, жертвы, свиданья —  
Там, в выси небесной, в иной стране,  
Где все исчезнут страданья.

Мне пела она о юдоли земной,  
О счастья, столь скоротечном,

О мире загробном, где дух, просветлен,  
В блаженстве плавает вечном.

Мне пела она отречения песнь,  
Небесную эйапопейю;  
Ребенка-народ, чтоб унять его плач,  
Давно баюкают ею.

Я знаю мелодию, знаю и текст,  
И авторов знаю прекрасно;  
Тайком они попивали вино,  
Пить воду советуя гласно.

Нет, новую песнь, друзья, пропою  
Для вас я — лучшего склада:  
Устроить небесное царство здесь,  
Уж здесь, на земле, нам надо.

Уж здесь, на земле, будем счастливы мы:  
Про голод ни слуху, ни духу,  
Того, что добыто прилежной рукой,  
Не жрать ленивому брюху.

Достаточно хлеба растет внизу,  
Всем хватит милостью бога;  
И миртов, и роз, красот и утех,  
И сладких горошинок много.

Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,  
Для всякого здесь найдется;  
А горнее царство пускай воробьям  
И ангелам достается.

А вырастут крылья по смерти у нас, —  
К вам, в горние ваши селенья,  
Взлетим и вместе покушаем там  
Блаженных тортов, варенья.

Да, новую песнь — прекраснее той!  
С ней флейтам и скрипкам едва ли

Сравниться! Долой miserere! Звонить  
По мертвым мы перестали.

Помолвлена дева Европа; ее  
Ждет с богом свободы венчанье;  
В объятия пали друг другу они,  
Блаженствуют в первом лобзаньи.

И если венчались они без попа,  
Отнюдь не ослаблен этим  
Их брачный союз. Много лет жениху,  
Невесте, будущим детям!

Да, новая, лучшая песня моя —  
В честь брака их песнопенье!  
В душе моей яркие звезды встают —  
Небесное откровенье.

Восторгом диким пылают они,  
Текут огневыми ручьями.  
Я чую чудную силу в себе,  
Я вырвал бы дубы с корнями.

Чуть стал я на землю родную, во мне  
Волшебные соки струятся;  
До матери вновь прикоснулся гигант,  
И вновь в нем силы родятся.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Меж тем как малютка про счастье в раю  
Пускала под музыку трели,  
Досмотрщики прусские мой чемодан  
Внимательно осмотрели.

Все перенюхали, рылись до дна  
В рубашках и панталонах,  
Искали кружев, вещей золотых,  
А также книг запрещенных.

Глупцы! Чего в чемодане искать!  
Ведь там ничего не найдется.  
Моя контрабанда в моей голове  
Повсюду со мной везется.

В ней тонкие кружева есть, до них  
И брюссельским очень далеко:  
Лишь стоит вынуть мне их, — и вас  
Уколют они жестоко.

Я в ней драгоценные камни ношу,  
Брильянты для дней грядущих,  
Сокровища храма иных богов,  
В великом Неведомом сущих.

И смею уверить, немало в ней  
Есть также и книг схороненных;  
Моя голова — это птичье гнездо  
Щебечущих книг запрещенных.

Поверьте, и в книжных шкапах сатаны  
Зловреднее не бывает;  
Гораздо опасней они и тех,  
Что фон-Фаллерслебен слагает.

Стоявший рядом со мной пассажир  
Заметил, что передо мною  
Таможенный прусский союз, страну  
Сковавший цепью одною.

«Таможенный прусский союз, — он сказал, —  
Народности положит  
Основу; раздробленным силам он  
В едино слиться поможет.

Единство внешнее он принесет,  
Что мы зовем матерьяльным;  
Цензура ж духовным единством снабдит —  
И, значит, вполне идеальным.

Единство внутри принесет она,  
И в мыслях и в чувствах: нужно,

Чтоб родина наша единой была,  
Единой внутри и наружно».

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В соборе ахенском погребен  
Карл Magnus; пусть не смешает  
Иной его с Карлом Майером — тем,  
Что в Швабии проживает.

Я вовсе не склонен в соборе, в гробу  
Лежать, как мертвец-император;  
Согласен я лучше в Штуккерте жить,  
Как самый плохой литератор.

На ахенских улицах скучно псам,  
И молят они со смиреньем:  
«Прохожий, дай нам пинка! Для нас  
Послужит он развлеченьем».

Прошлялся я в этом скучном гнезде  
Часок; на улице встретил  
Военных прусских, и в них перемен  
Особенных не заметил.

Все серые те же плащи; воротник  
Высокий и красный остался  
(Сей цвет знаменует французскую кровь.  
Как Кернер встарь выражался);

Все тот же педантский, дубовый народ;  
По-прежнему в каждом движеньи  
Прямые углы; на каждом лице —  
Застывшее самомнение.

Все так же навтыжку ходят они  
Шагами ходульно-прямыми,  
Как будто тот фухтель, которым их встарь  
Лупили, проглочен ими.

Да, фухтель еще не исчез вполне,  
В душе он у них пребывает,  
И в дружеском «ты» старинное «он»  
Сквозить еще продолжает.

Усы — это новый лишь фазис косы  
Старинного времени; косам,  
Висевшим тогда на затылке, теперь  
Висеть велели под носом.

Нашел я довольно красивым костюм  
Теперешний армии конной;  
Шишак мне особо по вкусу — шлем  
С верхушкой стальной, заостренной.

Тут рыцарством веет, и вспомнишь тут  
Романтики милую пору;  
Тик, Уланд, Фуке и мадам Монфокон  
Являются нашему взору.

Тут вспомнишь прелести средних веков —  
С ландскнехтами и пажами,  
Что верность носили в своих сердцах,  
А зад расшивали гербами.

Тут вспомнишь турниры, крестовый поход,  
Култ женщин, богу обеты,  
И веры век беспечатный, когда  
Не издавались газеты.

Да, очень мне нравится этот шлем,  
Он — знак остроумья на троне.  
Его король изобрел. Остроты  
Довольно в этом фасоне.

Я только боюсь, коль случится гроза,  
В ваш мир романтики старой,  
Пожалуй, притянутся тем острием  
Новейших молний удары.

А вспыхнет война, — и убор головной  
Полегче купить принудит:



Вам средневековый тяжелый шлем  
Помехою в бегстве будет.

На вывеске ахенской почты опять  
Явилась мне птица, глубоко  
Противная мне; вперила в меня  
Свое ядовитое око.

Поганая птица! Ну, попадись  
Мне в руки только, поверь, я  
И когти хищные отрублю,  
И выщиплю твои перья.

Потом у меня на высоком шесте  
Ты в воздухе будешь качаться;  
Я рейнских стрелков туда приглашу  
В веселой стрельбе упражняться.

Кто птицу сшибет, тому молодцу  
Корону и скиптр поднесу я;  
Мы туш протрубим и «Ура, король!  
Да здравствует!» — крикнем, ликуя.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я к вечеру в Кельн приехал, и тут  
Услышал Рейна журчанье;  
Немецкий воздух обвеял меня,  
Тотчас оказав влиянье

На мой аппетит. Яичницы я  
Поел с ветчиной; но соли  
В ней было так много, что все запить  
Рейнвейном пришлось поневоле.

Как золото, в рюмках зеленых рейнвейн  
Все так же точно блистает;  
Но если его ты не в меру хватил,  
Он в нос тебе ударяет.

Щекочет сладко в носу у тебя,  
С блаженством расстаться нет мочи.  
И вот меня потянуло пройтись  
По улицам, в сумрак ночи.

Ряд каменных зданий смотрел на меня.  
Как будто хотел сказанья  
Минувших веков поведать, открыть  
Священного Кельна преданья.

Здесь мир поповский в былые года  
Свое благочестье правил;  
Здесь было господство тех «темных людей»,  
Которых Гуттен ославил.

Здесь в средневековом канкане монах  
С монахиней изошрялись;  
И Менделем кельнским, Гохстратеном, здесь  
Доносцы с ядом писались.

Здесь многое множество книг и людей  
Пожары костров уносили,  
Причем раздавался с церковей трезвон,  
И «Кирие элейсон» гнусили.

Здесь глупость и злоба, сцепясь, как псы,  
По улицам бегали блудно;  
Их род, по слепой к иноверцам вражде,  
Узнать доныне нетрудно.

Но что я вижу? Во мраке ночном  
Встает, озарен луною,  
Какой-то дьявольски черный колосс —  
То кельнский собор предо мною.

Бастилией духа он должен был стать  
По мысли хитрого Рима:  
«Зачахнет здесь немецкая мысль,  
Тюрьмой гигантской теснима».

Но Лютер пришел, и сказал свое  
Великое «Стой!», — и скоро

Работу пришлось прекратить; с тех пор  
Не стало больше собора.

Его незаконченность радует нас:  
Нашли в ней себе оправданье  
И памятник вечный — германская мощь,  
И протестантства призванье.

О жалкий, глупый соборный совет!  
Рукой бессильной вы мните  
Достроить старую крепость, за труд  
Неконченный взяться хотите!

Безумье! Пускай колокольчик в церквах  
Звенит себе, сколько угодно,  
Пусть вам подаянье дает еретик  
И даже еврей — бесплодно!

Пусть в пользу собора великий Франц Лист  
Играет, и пусть любезно  
Король-декламатор читает стихи  
Пред публикой, — бесполезно!

Не будет достроен кельнский собор,  
Хотя и доставлен глупцами  
Из Швабии с этой целью большой  
Корабль, груженный камнями.

Не будет достроен, кричи не кричи  
Вороны и филины — птица.  
Которой любо, по старине,  
В пыли церковной ютиться.

И даже такая придет пора,  
Что, вместо его окончанья,  
В конюшню предпочтут обратить  
Громаду этого зданья.

«Но если в конюшню его обратить,  
То вот затрудненье какое:  
Куда перенести трех царей, что там  
В ковчеге лежат на покое?»

«Вот странный вопрос! В наше время нет  
Нам нужды больше стесняться:  
Не трудно трем восточным царям  
В другую квартиру обратиться.

Вы в Мюнстере можете их поместить —  
Совет разумен, поверьте —  
В трех клетках железных, висящих там  
На башне святого Ламберти.

Когда б оказалось, что нет одного  
Из этого триумvirата, —  
Ну, что ж! в замену восточному взять  
На западе можно собрата».

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Я к рейнскому мосту, на самый вал  
Пришел, — и вот предо мною  
Струит свои воды почтенный Рейн,  
Светясь под мирной луною.

«Здорово, старый, почтенный Рейн!  
Ну, как тебе поживалось?  
Не раз я с тоской тебя вспоминал,  
И сердце к тебе устремлялось!»

Сказал — и слышу в речной глубине  
Сердитые, странные звуки,  
Как будто бы кашель глухой старика,  
Ворчанье и вздох доуки.

«Здорово, сынок! Приятно, что ты  
Меня не забыл; примерно,  
Тринадцать лет мы не виделись. Мне  
Жилось это время прескверно.

Я в Бибрихе камни глотал, и они,  
Признаться, невкусные были;  
Но Никласа Беккера, друг, стихи  
Желудок сильнее отягчили.

Меня воспел он, как будто я  
Еще непорочная дева,  
С которой никто не посмеет сорвать  
Венка, страшась ее гнева.

Когда мне эту глупую песнь  
Услышать порой случится,  
Готов я всю бороду вырвать свою,  
В себе самом утопиться.

Что я не чистейшая дева — про то  
Французы лучше узнали;  
С моею водой они часто свои  
Победные воды мешали.

Глупейшая песнь, глупейший поэт!  
Меня он позорно ославил,  
И политически тоже меня  
В двусмысленном свете поставил:

Ведь если французы воротятся, мне  
Придется краснеть от смущенья, —  
Я часто у неба, в горячих слезах,  
Просил об их возвращеньи.

Французов я очень любил всегда —  
Такие, право, плутишки.  
Что, все еще скачут они, поют?  
Все белые носят штанишки?

Весьма бы хотелось увидеть их,  
Но только боюсь, пожалуй,  
Насмешки пойдут из-за этих стихов  
Проклятых, — и ради скандалу

Альфред де-Мюссе, забияка-гамен,  
Быть может, командуя ими,  
Придет барабанщиком и в меня  
Ударит остротами злыми».

Так плакался бедный, почтенный Рейн,  
Не мог остаться в покое.

Чтоб дух в нем поднять, в утешение я  
Промолвил слово такое:

«Насмешки французов, мой славный Рейн,  
Не бойся; французы бывые  
Исчезли, — не тот уж нынче народ;  
Штаны у них тоже иные.

Штаны их не белы, а красны теперь,  
Им пуговики новые дали;  
Не скачут уж больше и не поют,  
Задумчивы головы стали.

Они философствуют, темой бесед  
Им служат Фихте и Гегель;  
Охотно курят и пиво пьют,  
И есть любители кегель.

Такие ж филистеры, как и мы,  
Пожалуй, нас перегонят;  
Меж них вольтерьянцев уж нет, они  
Теперь к Генгстенбергу клонят.

Альфред де-Мюссе, это правда, гамен  
По-прежнему, но напрасно  
Не бойся: глумливый его язык  
Сковать мы можем прекрасно.

Коль злой остротой его барабан  
Ударит, мы свиснем другою,  
Позлее — о том, что случилось с ним  
У барынь красивых порою.

Итак, успокойся! И скверную песнь  
Забудь до последнего слова.  
Песнь лучшую скоро услышишь. Прощай.  
С тобой увидимся снова!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

За Паганини повсюду ходил  
Его spiritus familiaris

То в виде собаки, то в виде людском —  
Поэта Георга Гаррис.

Пред важным событием встречал Бонапарт  
Фигуру красного цвета;  
Свой демон был у Сократа; не бред  
Людской фантазии это.

Я сам, за письменным сидя столом,  
Ночную видел порою, —  
Зловещий, замаскированный гость  
Стоял у меня за спиною.

Он что-то скрывал под плащом, и когда  
Случайно оно открывалось,  
То странно блестело и топором,  
Секирой смерти казалось.

Приземист и плотен он с виду был;  
Глаза — как звезды; в писаньи  
Он не мешал мне и всегда  
Держался на расстоянья.

Прошло много лет с той поры, как мне  
Товарищ странный являлся, —  
И вдруг в эту тихую лунную ночь  
Он в Кельне вновь повстречался.

Задумчиво шлялся по улицам я,  
Вдруг вижу его за спиною;  
Как тень — неотступен: иду — идет;  
Я стану, и он со мною.

Стоит и как будто чего-то ждет;  
Пойду умышленно скоро, —  
Он тоже шаги ускоряет. И так  
Пришли мы на площадь собора.

В досаде, к нему обратясь, я сказал;  
«Тебя зову я к ответу:  
С чего ты вздумал за мною ходить  
В полночную пору эту?»

Тебя я встречаю всегда в часы,  
Когда мировые стремленья  
Родятся в груди моей, а в мозгу  
Пронесятся озаренья.

В меня неподвижный и пристальный взгляд  
Вперил ты. Что ты скрываешь  
С таинственным блеском под плащом?  
Кто ты, чего ты желаешь?»

Он сухо, почти флегматично мне  
Ответил: «Брось заклинанья,  
Прошу тебя очень; не к месту здесь  
И громкие эти воззванья.

Отнюдь я не призрак и вовсе не встал,  
Как пугало, из могилы;  
Философ я слабый, и мне цветы  
Риторики тоже не милы.

Натурой я практик, спокоен всегда,  
Молчание сохраняю;  
Но знай, — что задумано в мыслях тобой,  
Немедля я исполняю.

И если мне даже приходится ждать,  
Ждать долго, — работе всецело  
Я отдан, пока ее не свершу.  
Ты мыслишь, я делаю дело.

Ты — властный судья, я — немой палач;  
Ты ставишь решение, я же  
Послушно исполнить спешу приговор,  
Хотя б несправедный даже.

Пред консулом в Риме, бывало, несли  
Секиру, порядка ради;  
Ты ликтора тоже имеешь, но он  
Тебя провожает сзади.

Да, знай, я — твой ликтор; везде за тобой  
Хожу; в любое мгновенье



К услугам твоим мой блестящий топор;  
Я — мысли твоей свершенье».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пришел я домой и уснул, точно был  
Святым убаюкан духом.  
В немецких постелях так сладко лежать, —  
Они наполнены пухом.

Как часто в изгнании мечтал я с тоской  
Про сладость родной перины,  
Когда в бессонные ночи лежал  
На жестких матрацах чужбины.

Прекрасно спится и грезится нам  
На нашей постели пуховой;  
В минуты эти с немецкой души  
Спадают земные оковы.

Она себя чувствует свободной и ввысь,  
В небесные мчится селенья.  
О, души немецкие! В грезах ночных  
Как горды ваши паренья!

Заслышав ваш полет, в небесах  
Дрожат бессмертные боги;  
И крыльев размахом звезду за звездой  
Сметаете вы с дороги.

Французам и русским подвластна земля,  
Британцам море покорно,  
Но в царстве воздушном мечтательных грез  
Немецкая мощь бесспорна.

Здесь в наших руках гегемония; здесь  
Мы все нераздельно слились,  
Не так, как другие народы, — они  
На плоской земле развились.

Когда я заснул, мне привиделся сон:  
По улицам древнего Кельна,

Облитым ярким сияньем луны,  
Я странствовал вновь бесцельно.

Мой черный таинственный спутник вновь  
Со мной шел рядом. Сгибались  
Колени, отчаянно я устал,  
Но мы вперед подвигались,

Все дальше. Сердце в груди моей  
Разверстой раной зияло,  
И, капля за каплею, алая кровь  
Из раны этой бежала.

Порой я обмакивал пальцы в кровь  
И — случаи были нередки —  
На воротах домов по пути  
Кровавые ставил метки.

И только что знак поставлю такой  
На доме, звон погребальный  
Раздастся издали, словно  
Болезненный и печальный.

А в небе месяц тускнел, и тьма  
Сгушалась; в дикой погоне  
Зловещие тучи грядой неслись  
За ним, как черные кони.

Мой темный товарищ с топором  
По-прежнему шел нераздельно  
Со мной, и долго по улицам мы  
Вдвоем бродили бесцельно.

Бродили, бродили — и вновь пришли  
На площадь ту же; находим  
В полночную пору собора дверь  
Открытой настежь — и входим.

В громадном пространстве царили смерть  
И ночь, и молчанье; горели  
Местами лампы, как будто тьму  
Чернее сделать хотели.

Я долго ходил вдоль высоких колонн,  
И только шаги за спиною  
Звенели: то спутник был; он и здесь  
Шагал безмолвно за мною.

И вот мы в капелле восточных царей;  
Свечами она пламенела  
И массою драгоценных камней  
И золотом ярко блестела.

Но чудо какое! Святые волхвы,  
Что неподвижно лежали  
Уж сколько веков, теперь на своих  
Гробницах восседали.

Скелеты облек фантастичный наряд;  
Украшены гордо венцами  
Их желтые черепы; держат скиптр  
Они костяными руками.

И, как у кукол, их кости, давно  
Иссохшие, шевелились,  
И в воздухе запахи гнили, а с ней  
И ладана проносились.

Один даже ртом шевельнул, и меня  
Почтил своим объясненьем,  
До крайности длинным, — за что я ему  
Обязан высоким почтеньем:

Во-первых, за то, что он мертв; во-вторых, —  
Царем когда-то считался;  
А в-третьих, — его признали святым . . .  
Но я равнодушен остался.

И так, засмеявшись, ему сказал:  
«Что проку в твоих разьясненьях?  
Я вижу, что с прахом былых времен  
Ты связан во всех отношеньях.

Ступайте отсюда! Вам место одно —  
Во мраке сырой могилы;

Сокровища этой капеллы, возьмет  
Жизнь, полная власти, силы.

Грядущего конница — дайте срок —  
В соборе, здесь поселится;  
Не выйдете мирно, так палками вас  
Заставлю в бегство пуститься».

Сказал и назад обернулся — и вдруг  
Ужасное вижу сверканье  
Ужасной секиры: мой спутник немой,  
Поняв мое приказанье,

Приблизился с секирой своей  
К былых суеверий скелетам  
И начал несчастных рубить и рубить,  
Рубить нещадно. Ответом

Ему отгрянуло эхо от стен,  
От сводов! И вновь полился  
Кровавый поток из груди моей,  
И в ужасе я пробудился.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До Гагена стоит из Кельна проезд  
Пять талеров прусских; достался  
Билет мне в открытом возке: дилижанс  
Уж занятым оказался.

Осенняя сырость; телега в грязи  
Кряхтела. По скверной дороге  
И скверной погоде, всему вопреки,  
Я был в отрадной тревоге.

Ведь это воздух отчизны! Он жжет  
Своей живительной силой  
Мне щеки, И эта дорожная грязь —  
Ведь грязь моей родины милой!

Приветно кони махали хвостом,  
Как будто я друг их старинный,  
И мне Аталантовых яблок милей  
Был круглый помет лошадиный.

Вот Мюльгейм проехали. Город хорош,  
Хорош и нрав у народа —  
Прилежный, скромный. Я не был здесь  
С весны тридцать первого года.

В ту пору на всем был цветочный наряд,  
И птицы в ветвях щебетали,  
И солнце смеялось, в игре лучей,  
И люди, надеясь, мечтали —

Мечтали: «Ну, скоро уйдут теперь  
И тощие рыцари наши;  
Из длинных железных бутылок нальем  
Питья им в прощальные чаши.

И с песнями, с пляской, с хоругвью своей  
Трехцветной свобода прибудет;  
Пожалуй, что ею и Бонапарт  
Из гроба к нам вызван будет!»

Ах, господи! Рыцари все еще здесь!  
И сколько этих болванов,  
Что, тощи как спички, явились к нам,  
Теперь превратились в пузанов!

У бледных каналов, сиявших тогда  
Надеждой, верой, любовью,  
Теперь, в угощениях нашим вином,  
Носы как налиты кровью.

Свобода ногу свихнула себе,  
Хромает, уж нет отваги;  
На башнях парижских грустят, опустятся,  
Ее трехцветные флаги.

Восстал меж тем император, но так  
Задор его усмирили

Британские черви, что он допустил,  
Чтоб вновь его схоронили.

Я сам погребение видел, когда  
Златую везли колесницу;  
На ней златые богини побед  
Златую держали гробницу.

Медлительно вдоль Елисейских Полей,  
Под аркою Триумфальной,  
Сквозь снежные хлопья и сквозь туман  
Тянулся хор погребальный.

В игре музыкантов был страшный разлад, —  
От стужи они коченели;  
Орлы со штандартов на меня  
С печалью немой глядели.

Толпой привидений казался народ,  
Ушедший в память былого;  
Пред ним императорский сказочный сон  
Был чарами вызван снова.

Я плакал в то утро печальное. Взор  
Невольно слезой омрачился,  
Когда предо мною забытый крик:  
«Vive l'Empereur!» прокатился.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Из Кельна в осьмого три четверти мы  
Уехали; к трем уже были  
На Гагенской станции; здесь в этот час  
Обедом нас покормили.

Тут старогерманская кухня была  
В ее красе настоящей.  
Привет мой кислой капусте! По мне  
Твой запах всех прочих слаще.

Каштаны в зеленом салате! Ел  
У матушки их я когда-то.

Привет и треске родимой! Умно  
Ты плаваешь в масле! .. О, свято

Вовек остается для нежных сердец  
Отечество! .. Да, признаться,  
Люблю я и яйца и мелких сельдей,  
Когда хорошо прокопятся.

Как радостны в брызжущем жире своем  
Сосиски! Смирно лежали,  
Как ангелы, жареные дрозды  
В компоте, и щебетали:

«Здорово, земляк! Давно тебя  
Не видели мы! За границей  
Ты проживал, и компанию там  
Водил с нездешнею птицей».

Меж яств и гусыня была — существо  
Чувствительной, кроткой породы.  
Кто знает? Быть может, она меня  
Любила в былые годы?

Смотрела она на меня тепло  
И преданно, и уныло;  
Душа в ней, наверно, нежна, мягка,  
Но тело прежестким было.

Свиную голову затем  
Нам подали тоже на блюде;  
Доселе рыла свиные у нас  
Венчают лаврами люди.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сейчас же за Гагеном стало темно;  
Я странный озноб всю дорогу  
До Унны в кишках ощущал; лишь там,  
В трактире, согрелся немного.

Здесь пуншу стакан получил я из рук  
Приветливой юной красотки;

Как шелк золотой — ее кудри; глаза,  
Как отблеск месяца, кротки.

Ее шепелявый вестфальский акцент  
С восторгом слушал опять я,  
И память о прошлом в парах пуншевых  
Воскресла: милые братья,

Я вспомнил вас, вестфальцы мои,  
И Геттинген, где напивались  
Мы с вами и, нежно в объятьях сплетясь,  
Под стол потом опускались.

Да, милых и добрых вестфальцев всегда  
Любил я; такой это верный,  
Надежный и крепкий народ, без следа  
Бахвальства, лжи лицемерной.

Как славно, со львиной душой своей,  
Стояли они на мензуре!  
В их терцах и квартях блюлись  
Согласно честной натуре.

Прекрасно фехтуют, прекрасно пьют;  
Когда поцелуем их губы  
Скрепляют дружбу, то плачут они —  
Чувствительно-нежные дубы!

Пусть небо хранит тебя, славный народ,  
И счастье тебе посылает,  
От славы излишней, от войн тебя,  
От всяких геройств спасает.

Сынам твоим пусть помогает оно  
Сдавать успешно экзамен;  
А дочек прилично и мило ведет  
К венцу желанному. — Amen!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вот лес Тевтобургский; описан он  
У Тацита; вот перед нами



Болото славное, то, где Вар  
Завяз со своими полками.

Здесь Германа дланью он был сражен,  
Херусского славного князя.  
Победа немецкой народности здесь  
Одержана, в этой грязи.

Когда бы с ордой белокурой своей  
Не выиграл Герман сраженья,  
Конец бы немецкой свободе, и нам  
Под Римом быть, без сомненья.

Нам римские нравы и римский язык  
Давно бы были привиты;  
Весталки и в Мюнхене бы нашлись,  
И швабы звались бы «квириты».

Гаруспексом Генгстенберг стал бы — в кишках  
Бычачьих искать ответов;  
Неандер бы авгуром стал — от птиц,  
В полете их, ждать советов.

Бирх-Пфейфер пила бы скипидар.  
Подобно римлянкам знатным,  
(У них, говорят, от того моча  
Особо была ароматной).

И не был бы Раумер немецкая дрянь,  
Он стал бы — римский Дрянаций,  
Без рифм писал бы стихи Фрейлиграт,  
Как некогда Флакк Гораций.

Грубьян-попрошайка, папаша Ян,  
Звался б теперь Грубиянус;  
Ме Hercule! Масман беседы б вел  
Латынью — Марк Туллий Масманус.

Поборники правды дрались бы лишь  
С гиенами, тиграми, львами.  
Сражаться бы им не пришлось теперь  
В ничтожных журналах с псами;

На место трех дюжин владык одного  
Нерона имели б народы;  
Себе мы бы резали жилы на зло  
Презренным врагам свободы.

Наш Шеллинг, вторым Сенекою став,  
Под этим пал бы конфликтом;  
Корнелиус мог бы услышать от нас:  
«*Scacatum non est pictum*».

Но Герман противника победил,  
И изгнаны им иноземцы:  
Вар пал со своими полками, и мы  
По-прежнему, к счастью, немцы.

Мы — немцы, как прежде; опять говорим  
Мы по-немецки; куда бы  
Ни двинулись, *Esel* — названье осла,  
Не *asinus*; швабы — швабы.

И Раумер, как прежде, немецкая дрянь,  
Украшен орденом знаком;  
Все рифмами пишет стихи Фрейлиграт,  
Не стал Горацием Флакком.

И Масман латынью речей не ведет,  
Бирх-Пфейфер творит лишь драмы,  
Не пьет скипидара дрянного она,  
Как римские светские дамы.

О Герман, тебе мы обязаны всем!  
Народ благодарным остался  
И в Детмольде памятник ставим тебе, —  
Я сам на днях подписался.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ползет наша бричка в лесной темноте.  
Вдруг треск подо мной. Отлетело,  
Сломавшись, у нас колесо. Стоим,  
Совсем незабавное дело!

Слезает почтарь и в деревню спешит;  
А я, одинокий, остался  
Средь леса, в полночную пору. Вдруг  
Отчаянный вой раздался.

То волки голодную глотку свою,  
Сойдясь в кружок, разевают;  
В ночной темноте огневые глаза,  
Как свечи, горят и сверкают.

Наверно, узнав о приезде моем,  
Почетный прием захотели  
Устроить мне — осветили лес  
И хором привет запели.

Да, ясно я вижу теперь: это мне  
Устроили серенаду.  
Я стал в позытуру и произнес  
С растроганным видом тираду:

«Товарищи волки! Я счастлив себя  
Сегодня видеть в собраньи  
Сердец благородных, от коих ко мне  
С любовью летит завыванье.

Что в эту минуту чувствуя я,  
Не выразить словом, конечно;  
Прекраснейший этот час для меня  
Останется памятным вечно.

Примите мою благодарность за то  
Доверие, коим почтили  
Меня и с которым вы мне не раз  
Во дни невзгоды служили.

Товарищи волки! Из вас не один,  
Во мне усомнясь, не попался  
На удочку плутов, кричавших, что я  
На сторону псов передался;

Что стал я отступником и вступлю  
Гофратом в стадо овечьё;

Считал унижительным я для себя  
Оспаривать это злоречье.

Хоть шубой овечьей себя порой  
В холодные дни я грею,  
Но верьте, что счастье овец никогда  
Мечтой не бывало моею.

Да, я не овца, не треска, не гофрат,  
Не пес, — мне волки лишь любви;  
Я волком остался, как был, у меня  
Все волчье — сердце и зубы!

Я — волк и по-волчьи вою всегда;  
Здесь каждый рассчитывать может  
И впредь на меня; помогайте себе  
Вы сами, — и бог вам поможет».

Такую-то речь я им произнес,  
Совсем не готовившись; эти  
Слова, исказив их, Кольб поместил  
Потом во «Всеобщей Газете».

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вот Падерборн. Солнце сегодня взошло  
С досадливым выраженьем,  
Ведь занято скучной работой оно —  
Дурацкой земли освещеньем.

Осветит одну половину ее,  
Полет направит в другую,  
А первая тою порою, глядь,  
Во тьму погрузилась ночную.

Не может управиться с камнем Сизиф,  
Данаевы дочери даром  
Льют воду в бочку, и солнце вотще  
Горит над земным нашим шаром!

Туман разошелся, и алой зари  
Лучи предо мной осветили  
У края дорожного образ того,  
Кого ко кресту пригвоздили.

Твой образ всегда мне внушает страх,  
Несчастный мой прародитель,  
Глупец, желавший мир искупить,  
Человечества ты спаситель!

Плохую шутку люди с тобой,  
Сыграли в своем коварстве!  
Зачем без оглядки ты им говорил  
О церкви, о государстве.

К несчастью, еще не знаком был твой век  
С печатным станком чудесным;  
Наверное, книгу бы ты написал  
По всем вопросам небесным.

Чтоб ею не был уколот никто,  
В ней сделал бы цензор изъятья;  
Любовно спасла бы цензура тебя  
От крестного распятыя.

Ах, если б нагорную проповедь ты,  
Построил в словах пристойных!  
С изрядным талантом твоим и умом  
Ты мог бы щадить достойных.

Менял и даже банкиров бичом  
Из храма ты гнал в ослепленьи —  
Несчастный мечтатель! Теперь ты висишь,  
Как предостереженье.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

По голой равнине при ветре сыром  
В грязи плетемся уныло.  
Но в сердце моем звучит и поет:  
«Ты, солнце, каратель-светило!»

Так старая песня кончалась, — ее  
Мне нянька часто певала,  
«Ты, солнце, каратель-светило!» — как зов  
Лесного рожка звучало.

Та песня поет об убийце; он жил  
В довольстве, в весельи блестящем;  
Но вот, наконец, был найден в лесу  
На иве плакучей висящим.

И к дереву смертный его приговор  
Гвоздем прибит был: свершило  
Судилище фэмы свой мстительный суд —  
Ты, солнце, каратель-светило!

Убийца был солнцем к суду привлечен,  
Оно обвинить побудило;  
Оттилия крикнула в смертный час:  
«О солнце, каратель-светило!»

Чуть вспомню ту песню, — и няню свою  
Старушку я вспоминаю:  
Все складки, морщины на смуглом лице  
Так живо себе представляю!

В деревне вестфальской родившись, она  
Имела запас превосходный  
Преданий, сказок, волшебных легенд  
И песен в манере народной.

С каким я биением сердца внимал  
Рассказу про королевну  
Что, косы плетя золотые, в степи  
Сидела одна ежедневно.

Гусей сторожила в степи она;  
Когда ж вечером загоняла  
Их в город обратно, всегда у ворот  
В глубокой скорби стояла.

Прибита была к ним коня голова, —  
Она королевне знакома!

Ах, конь этот бедный ее принес  
В чужбину из отчего дома.

Вздыхает до слез королевская дочь:  
«О Фалада, ты повешен!»  
И голова отвечает с ворот:  
«Я за тебя безутешен!»

Вздыхает до слез королевская дочь  
«Когда бы мать это знала!»  
И голова отвечает с ворот:  
«Ей сердце б весть разорвала!»

Не смея дохнуть, я старухе внимал,  
Когда, уж в тоне серьезном,  
О Ротбарте речь заводила она,  
Об императоре грозном.

Она уверяла, что он не мертв,  
Как думает мир наш ученый:  
Он жив и скрывается только в горе,  
Дружиною окруженный.

Кифгейзер — гора та зовется; внутри  
Пещера; высоко аркады  
Возносятся в залах, и там горят  
Таинственным светом лампы.

И первая зала — конюшня; туда  
Войди, — увидишь стоящих  
У ясель тысячи тысяч коней  
В серебряных сбруях блестящих.

Оседланы, взнузданы кони, но  
Недвижны; не слышно ржанья  
И стука копыт, точно здесь стоят  
Чугунные изваянья.

А в зале второй на соломе лежат  
Тысячами солдаты;  
Воинственно грозны лица — народ  
Здоровый и бородатый.

С оружием, в броне с головы до ног  
Вся армия; да, но тоже  
Лежат храбрецы недвижно; сковал  
Их сон непробудный на ложе.

Вдоль третьей залы громадный склад  
Различных видов оружия —  
Тут шлемы, секиры, брони, мечи  
И старофранкские ружья.

Немного здесь собрано пушек, но их  
Трофей построить достало,  
И знамя воздвигнуто в высоте  
Над ним, черно-золото-ало.

В четвертой — сам император. Сидит  
На каменном стуле, рукою  
Могучей о каменный стол опершись,  
С опущенной головою.

Сидит он много веков; борода,  
Как пламя красна, достигает  
Уже до земли; то глазом моргнет,  
То брови мрачно сдвигает.

Он спит иль думает думу? Решить  
Нельзя; но пусть лишь настанет  
Желанный, давно ожидаемый час, —  
И он могуче воспрынет.

Он схватит доброе знамя, и крик:  
«Встать! на коня!» — пронесется  
По залам высоким: заслышав зов,  
Вся конница вмиг проснется.

И вскочит, оружием стуча, на коней,  
Топочущих, ржущих ретиво;  
Труба гремит, и в мир боевой  
Помчались всадники живо.

Все выспались вдоволь, и бьются все  
Отлично, ездят отлично;



Убийц покарать император решил  
И судит их самолично;

Убийц, чье коварство в былые дни  
Германию осквернило —  
Чистейшую деву в кудрях золотых...  
О солнце, каратель-светило!

Пусть, в замках укрывшись, считают себя  
В покое наглые труссы, —  
От мстительной петли они не уйдут,  
От гневной руки Барбаруссы!

Чудесные сказки старушки моей  
Звучат так отраднo, мило!  
И суеверное сердце поет:  
О солнце, каратель-светило!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Холодный, как лед, как игла, колюч,  
Льет дождь; по грязной дороге  
Лошадки, печально хвостом шевеля,  
Усталые тянут ноги.

Почтарь на козлах трубит в свой рожок,  
Я эту песенку знаю:  
«Три всадника едут рядом из ворот!»  
Я в смутные грезы впадаю.

Клонила дремота меня, — я заснул,  
И сон затем мне приснился,  
Что я с императором Ротбартом вдруг  
В его горе очутился.

На каменном стуле, на каменный стол  
Склонившись, уж не сидел он,  
И важного вида, в каком представлять  
Привыкли его, не имел он.

По залам он спокойно гулял,  
Болтал со мной откровенно,  
И, как антикварий, показывал все,  
Что редкостно и что ценно.

В палате с оружием он мне объяснил,  
Как должен быть в дело пускаем  
Бердыш; и ржавчину с древних мечей  
Стирал своим горностаем.

Метелкой из перьев павлиньих затем  
От пыли чистил булаты,  
Доспехи различного рода — щиты,  
Забрала, шлемы и латы.

Смел пыль со знамени он и сказал:  
«Вот чем горжусь наиболее,  
Что нет до сих пор червоточин в древке,  
И шелк не попорчен от моли».

Когда же в залу мы с ним перешли,  
Где тысячи воинов, к бою  
Готовых, лежали и спали, старик  
Сказал, довольный собою:

«Здесь тише бы нам говорить и ходить,  
Чтоб не проснулись солдаты;  
Столетье опять истекло, и как раз  
Сегодня выдача платы».

И вот он тихо приблизился к ним  
И каждому — вижу — солдату  
Украдкой, чтоб сон не нарушить его,  
В карман кладет по дукату.

Увидев, что я удивлен, он сказал:  
«На каждого человека  
Положен за службу дукат; я его  
Плачу в последний день века».

При этом старик ухмылялся. А там,  
Где кони безмолвные рядом

Стояли недвижно, он руки потер  
С особо радостным взглядом.

И стал лошадей поштучно считать  
И хлопать по крупам руками;  
Считал и считал, причем шевелил  
Тревожно и быстро губами.

«Нет, все еще, вижу, неполон комплект, —  
Сердась, старик, замечает, —  
Солдат и оружия достаточно мне,  
А вот коней не хватает.

Скупать наилучших коней я давно  
Своих ремонтеров отправил  
По целому свету — и к прежним коням  
Немало новых прибавил.

Жду только комплекта — тогда, на врага  
Ударив, добуду свободу  
Отчизне и ждущему с верой меня  
Так долго уже народу».

Так мне говорил император, — а я:  
«Ударь, старина почтенный,  
Ударь, — коль не хватит коней у тебя,  
Возьми ослов для замены».

Но Ротбарт с улыбкою возразил:  
«Нет нужды нам торопиться;  
Ведь Рим не в один же построен день,  
И медленно дело спорится.

Что нынче не вышло, то завтра придет;  
Дуб крепнет не спешно, но рьяно;  
И в Римской империи говорят:  
*Chi va piano, va sano*».

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Толчок экипажа меня разбудил;  
Но снова веки упали.

И скоро опять я заснул, и опять  
Мне Ротбарт снился. Гуляли,

Как прежде, по залам пустынным мы,  
Болтая; про то и про это  
Расспрашивал он и желал узнать  
Все новости нашего света,

Оттуда десятки уж целые лет  
Старик не имел никакого  
Известья, — почти с Семилетней войны  
Хотя б единое слово!

«Что делает Каршин? Моисей Мендельсон? —  
Расспрашивал он с интересом. —  
Людовик Пятнадцатый как с Дюбарри —  
Своей графиней-метрессой?»

«О, как, — я вскричал, — ты отстал, государь!  
Моисея давно схоронили  
С супругой Ревеккой, и сына их  
Абрама косточки сгнили.

От брака Абрама и Лии рожден  
Сын Феликс, мальчик проворный.  
Ему в христианстве весьма повезло,  
Он капельмейстер придворный.

И старая Каршин уж умерла,  
И дочь ее Кленке скончалась;  
В живых, говорят, только внучка ее,  
Гельмина Чези, осталась.

Пока был Людовик Пятнадцатый жив,  
Жилось Дюбарри превосходно;  
На старости лет гильотинным ножом  
Казнили ее всенародно.

Людовик Пятнадцатый умер в своей  
Постели мирной кончиной;  
Шестнадцатый с супругою был  
Публично казнен гильотиной.

На казнь королева бесстрашно пошла,  
Как сану ее подобало;  
Когда ж Дюбарри на помост вели,  
Кричала она и рыдала».

Тут император, как вкопанный, стал,  
С весьма испуганной миной,  
И говорит: «Бога ради, скажи,  
Что значит: казнить гильотиной?»

«Казнить гильотиною ... — я сказал, —  
Новейшая это метода,  
Которой в гроб отправляют людей  
Всех званий, всякого рода.

При этой методе пускается в ход  
Новейшая машина:  
Ее изобрел господин Гильотэн,  
Название ей — гильотина.

Ремнями к доске ты привязан; ее  
Опустят; ты вдвинут в продольный  
Проход меж бревен высоких; вверху  
Висит топор треугольный.

Потянут за шнур, — и топор с высоты  
Вниз живо, весело мчится;  
При этом случае голова  
В мешок под доской катится».

Но тут император меня перебил:  
«Молчи! Об этой машине  
И знать не хочу! Сохрани меня бог  
Дать ход такой гильотине!

Король с королевой! Ремнями! К доске  
Привязаны! Слыхано ль это?  
Ведь тут нарушают почтенья закон,  
Ведь гибель тут этикета!

Да ты-то кто такой, чтоб ко мне  
Так смело на ты обращаться?

Постой, я до дерзостных крыльев твоих  
Сумею скоро добраться.

Всю желчь твоя речь подымает во мне. —  
Так страшно она дерзновенна!  
Твое уж дыханье преступно: оно  
Отчизне, трону измена!»

Когда на меня раздраженный старик  
Накинулся с бешеным шумом,  
Я тоже вскипел, дав волю своим  
Заветным чувствам и думам.

«Гер Ротбарт! — воскликнул я громко, — ты дух  
Из сказок; ступай ложиться  
И мирно усни, а уж мы без тебя  
Свободы можем добиться.

Республики партия нас осмеет,  
Начнет колоть остротами,  
Увидев, что призрак со скиптром в руках,  
С короною, правит нами.

Не любо мне больше и знамя твое;  
Немецкое глупое рвенье  
К цветам черно-красно-золотому в меня  
Уж буршем внесло отвращенье.

Всего бы лучше тебе навсегда  
В Кифгейзере старом остаться;  
Да нам вообще император теперь  
Не нужен больше, признаться».

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Во сне с королем поссорился я —  
Во сне, разумеется: въяве  
Так грубо с монархами говорить  
Считаем себя мы не в праве.

Во сне, в идеальных лишь грезах своих,  
Мы, немцы, князьям держаем

Немецкие чувства высказывать те,  
Что в сердце таим, скрываем.

Проснувшись, себя я увидел в лесу.  
Вид этих деревьев и прозы,  
Реально нагой, деревянной, тотчас  
Рассеял прежние грезы.

Вершинами качали дубы,  
В киваньи берез осужденье  
Читал я — и крикнул: «Монарх дорогой,  
Прости мое дерзновенье!

Прости, о Ротбарт, горячность мою!  
Я знаю, ты много мудрее  
Меня — я теряю терпенье легко.  
Приди, император, скорее!

Коли гильотина не нравится, ты  
Останься при старом: дворянству —  
По-прежнему меч, а веревку с петлей —  
Мещанам, купцам, крестьянству.

Порой лишь меняй методу: повесь  
Двух-трех дворянского званья,  
А граждан простых и крестьян обезглавь, —  
Мы все господни созданья.

Вновь суд уголовный, суд плахи введи.  
Что создал с немалым успехом  
Карл Пятый, и снова народ раздели  
По гильдиям, классам, цехам.

Священной империи римской опять  
Дай жизнь и силу былую;  
Верни, со всей обстановкой смешной,  
Народу ветошь гнилую.

Да, средневековый порядок, какой  
Действительно был в свое время,  
Снесу я охотно; сними лишь с нас  
Уродства двойного бремя —

Штиблетного рыцарства нашего, той  
Противной смеси, где либо  
Готический бред, либо новая ложь,  
Где люди — ни мясо, ни рыба.

Гони комедьянтов, закрой балаган,  
Конец положи затее —  
Дела старины пародировать нам.  
Приди, о Ротбарт, скорее!»

### ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Мы в крепости Миндене. Славные в ней  
Орудья и укрепления;  
Но с прусскою крепостью дело иметь  
Не чувствую я влечения.

Приехали под вечер мы, и когда  
Подъемный мост проезжали,  
Зловеще стонал он под нами, а рвы,  
Как темные пасти, зияли.

И ряд бастионов смотрел с высоты  
С угрозой такой, сурово;  
Большие ворота, железом звеня,  
Раскрылись и заперлись снова.

И стало мрачно в душе у меня,  
Как некогда было с душою  
Улисса, когда завалил Полифем  
Пещеры выход скалою.

Но вот к экипажу капрал подошел.  
«Как имя?» — спросил. Отвечаю:  
«Никто — мое имя; я врач глазной  
И бельма гигантам снимаю».

В гостинице стало еще тяжелей,  
Противно кушанье было:  
В постель я тотчас же улегся, но спать  
Не мог, — одеяло давило.



Лежал я в пуховой постели; с боков —  
По красной камчатной гардине,  
Истертый вверху золотой балдахин,  
И грязная кисть посередине.

Проклятая кисть! Не давала всю ночь  
Она минуты покою,  
С угрозой, как меч Дамоклов, вися  
Как раз над моей головою.

Порой головою змеиной она  
Казалась; я слышал шипенье:  
«Ты в крепости здесь и останешься в ней,  
В пожизненном заточеньи».

«О, если б возможно мне было теперь, —  
Вздыхал я с тоской унылой: —  
Быть дома, в Париже, в Faubourg Poissoniere.  
Сидеть с женой моей милой!»

Я чувствовал также — на лбу у меня  
Как будто что-то черкали;  
Мне чудился цензор с холодной рукой, —  
И мысли вспять убежали.

Жандармы, укутавшись в саваны сплошь,  
Как призраков белых собранье,  
Постель окружили, и слышал я  
Зловещей цепи бряцанье.

Ах, призраки схватили меня,  
Куда-то с собой забрали, —  
И вот на крутом я утесе; к нему  
Цепями меня приковали.

Опять балдахинная гадкая кисть  
Висит надо мной! Теперь я  
По виду за коршуна принял ее —  
И когти и черные перья.

В ней сходство увидел я с прусским орлом;  
Меня схватил он когтями,

Стал печень из груди клевать, — и я  
Стонал, обливался слезами.

И долго стонал я, — но крикнул петух,  
И бред ночной прекратился,  
Я в Миндене в потной постели лежал,  
И коршун в кисть превратился.

Я с экстра-почтою поспешил  
И только средь вольной природы  
Вздыхнул на земле Бюкебургской вновь  
С отрадным чувством свободы.

#### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ошибся ты, Дантон! — и за то,  
Что было мнение ложно,  
Потом поплатился! Отчизну унести  
С собой на подошвах можно.

Чуть-чуть что не княжество все Бюкебург  
К моим сапогам прилепилось;  
По грязным дорогам таким ходить  
Мне в жизни впервой случилось.

Я в город пошел; на родное гнездо  
Хотел взглянуть мимоходом;  
Здесь дедушка мой появился на свет,  
А бабка — из Гамбурга родом.

В Ганнновер приехал я днем: с сапог  
Дал счистить грязь; поспешаю  
Осматривать город; поездки свои  
Я с пользою совершаю.

Какая же, господи, чистота!  
На улицах грязи не видно,  
Роскошные зданья стоят кругом,  
Все так величаво, солидно.

Особенно площадь понравилась мне:  
В прекрасных домах вся местность;  
Живет тут король, тут его дворец —  
Красивая очень внешность

(Дворцовая, то есть). И у дверей  
Две будки; с ружьями стражи  
И в красных мундирах; они глядят  
Свирепо и дико даже!

«Здесь, — объяснил чичероне, — живет  
Эрнст Аугустус, старый мужчина  
Дворянского звания, тори и лорд,  
Для лет своих молодчина.

Он идиллически здесь живет;  
Надежней когорт железных  
Его охраняет трусливый нрав  
Сограждан наших любезных.

Мы видимся с ним; от него всегда  
Я жалобы слышу о доле  
Скучнейшей, ему присужденной судьбой, —  
В Ганновере быть на престоле.

Он к жизни великобританской привык,  
И здесь ему тесно, и гложет  
Несчастливого сплин; за него я боюсь —  
С тоски повеситься может.

Я утром, третьего дня, застал  
Его у камина сидевшим.  
Он сам готовил клистир своим  
Собакам заболевшим».

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Из Гарбурга в Гамбург проехал я в час.  
Был вечер. Дышала природа  
Прохладой и негой, и звезды мне  
Кивали с небосвода.

Я к матушке поспешил; она  
Почти испугалась сначала  
От радости. «Ах, сынок дорогой! —  
Всплеснув руками, вскричала.—

Дитя дорогое! Тринадцать лет  
С тобой мы не виделись, знаешь;  
Наверное, голоден ты, скажи,  
Чего ты скушать желаешь?

Есть рыба, есть также жареный гусь  
И сочные апельсины». —  
«Прекрасно, и рыбу, и гуся давай,  
И сочные апельсины».

Я ел с аппетитом. У матушки вид  
Был бодрый такой, счастливый.  
Расспрашивать стала о том, о сем,  
Иной был вопрос щекотливый.

«Хорош на чужбине уход за тобой?  
Супруга твоя, сыночек,  
Хозяйство ведет умело? Чинит  
Изыяны носков, сорочек?»

«Мамашенька, рыба твоя хороша,  
Но надо есть осторожно;  
Давай помолчим, — я боюсь костей;  
Легко подавиться можно».

Покончил я с доброю рыбой, и гусь  
Был подан. Матушка стала  
Вопросы различные вновь задавать —  
Меж них щекотливых немало.

«Где лучше живется, мой милый? У нас?  
Во Франции? Как твое мнение?  
Какому из двух народов, скажи,  
Ты склонен отдать предпочтенье?»

«Немецкие гуси весьма хороши.  
Мамашенька милая; все же

Французы лучше шпигуют гусей,  
Вкусней подливки их тоже».

Откланялся тоже и гусь. За ним  
Ко мне с заявленьем почтенья  
Пришли апельсины; их сладость была  
Достойная удивленья.

А матушка продолжала свои  
Расспросы о сотнях предметов  
С большим удовольствием; было меж них  
Немало скользких сюжетов.

«Какого ты образа мыслей теперь?  
Политикой продолжаешь,  
Сынок, увлекаться? Какую своей  
Ты партию нынче считаешь?»

«Мамашенька милая, очень вкусны  
Твои апельсины; глотаю  
С большим удовольствием сладкий их сок,  
А корки всегда бросаю».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Полгорода выжег пожар, но его  
Тотчас отстраивать стали;  
Как полуобстриженный пудель стоит  
Мой Гамбург, в тихой печали.

Из улиц старинных уж многих найти  
С прискорбием не могу я.  
Где дом, где впервые узнал я любовь  
И радости поцелуя?

Где та типография, где в печать  
Мои «Reisebilder» сдавались?  
Где погреб, в котором я устриц глотал,  
Едва они появлялись?

А Дрекваль? Где Дрекваль? Напрасно его  
Найти я старался. Не стало  
Того павильона, где я съедал  
Пирожных уйму, бывало.

Не стало и ратуши, где сенат  
И бюргерство царили.  
Огня добыча! Его языки  
Святыню не пощадили!

От ужаса здесь до сих пор везде  
Вздыхают; и в слезной печали  
Историю страшную мне они  
Про бывший пожар рассказали.

«Вдруг разом со всех загорелось концов,  
Все скрылось под дымом и блеском  
Пожарного пламени. Башни церковей  
Пылали, падали с треском.

И старая биржа сгорела, куда  
Уж столько веков непреложно  
Шли наши отцы и вели дела  
Так честно, как только можно.

Но банка, серебряной здешней души,  
Не тронул огонь; сохранились  
У нас, слава богу, те книги, куда  
Расчеты наши вносились.

Для нас в самых дальних краях пошла  
Подписка, и, слава богу,  
Миллионов восемь — чем не гешефт! —  
Собрали мы понемногу.

Раздачей пособий совет управлял —  
Вполне христиане, лица  
Из самых почтенных; и шуйца у них  
Не знала, что брала десница.

В открытые руки к нам деньги текли  
Из всех государств; нам слали

Съестные припасы, и мы и их  
Признательно принимали.

Наслали нам вдоволь постелей, одежду  
И мясо, хлеб, и бульоны;  
А прусский король собирался прислать  
К нам даже свои батальоны.

Ущерб материальный покрылся вполне,  
Мы это ценим сердечно;  
Но наш перепуг, перепуг — никогда  
Не будет оплачен, конечно!» —

«Вам, милые люди, — я их ободрял, —  
Стонать и плакать — не дело,  
Ведь Троя был город получше, чем ваш,  
А тоже она сгорела.

Постройте снова свои дома,  
На улицах грязь осушите;  
Пожарный обоз свой и с ним заодно  
Законы свои обновите.

Не сыпьте в свой черепаховый суп  
Кайенского перца чрезмерно;  
И карпов не нужно так жирно варить, —  
От них заболеешь наверно.

Индеек вред принесут небольшой,  
Но бойтесь беды несомненной  
От птицы коварнейшей, снесшей яйцо  
В парик бургомистра почтенный.

Назвать эту птицу фатальную вам,  
Я полагаю, не надо.  
Чуть вспомню о ней, повернется в моем  
Желудке пища с досады».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Хоть город и изменился, но в нем  
Народ изменился едва ли

Не больше. Подобье ходячих руин,  
Все бродят в немой печали.

Худые еще худошавей теперь,  
А толстые растолстели;  
Ребята — уже старики; старики  
В ребячество впасть успели.

Из тех, что телятами были при мне,  
Я многих застал быками;  
Немало тоже смиренных гусят  
Надменными стали гусями.

Я встретил старую Гудель; она  
Накрашена, как сирена;  
Фальшивые черные кудри у ней,  
И зубы — белая пена.

Всех лучше успел сохраниться мой друг  
Торговец бумагой; грива  
Его пожелтела, и Иоанн  
Креститель с ним схож надиво.

Я \*\*\* издали видел; шмыгнул  
Он мимо, будто взволнован.  
Я слышал, что ум погоревший его  
У Бибера был застрахован.

Увидел и цензора я своего:  
На рынке гусином со мною  
Он встретился — одряхлевший такой,  
С печалью согбенной спиною.

Мы руку друг другу пожали; в глазах  
У старца блеснула слезинка;  
Как счастлив он был, увидев меня!  
Всех тронула б эта картинка.

Не всех, однако, найти привелось, —  
Похитила многих могила;  
Ах, даже с моим Гумпелино судьба  
Мне встретиться не судила.



Недавно великий свой дух испустил  
Навеки сей муж благородный;  
У трона Иеговы, как серафим,  
Парит он ныне, свободный.

И нет Адониса кривого, его  
Напрасно искал я всюду;  
На улицах он продавал фарфор —  
Горшки, ночную посуду.

В живых ли маленький Мейер еще, —  
Совсем неизвестно мне это;  
Досадно очень, что справиться я  
О нем забыл у Корнета.

Скончался и преданный пудель Саррас.  
Готов о заклад я биться,  
Что Кампе приятней бы вместо него  
Десятка поэтов лишиться.

С древнейших времен население здесь -  
Евреи и христиане.  
У первых с последними общее есть —  
Придерживать грош в кармане.

Народ христиане не дурной:  
Они обедают славно,  
И платят всегда по своим векселям  
В канун последний исправно.

Евреи делятся здесь опять  
На партии: новая — богу  
Молиться стекается в храм; старики  
Идут, как встарь, в синагогу.

У новой — протесты: считают они  
Свинину законным блюдом,  
И — демократы; а те больны  
Аристократическим зудом.

Люблю я и тех и других; но клянусь  
Тобою, о праведный боже,

Что некая рыбка — названьем шпрот  
Копченый — мне их дороже!

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Сравнить, как республику, Гамбург нельзя  
С Венециею бесспорно,  
Но в Гамбурге устрицы лучше; их сорт  
У Лоренца — самый отборный.

Прекрасным вечером туда  
Зашел я с Кампе в компании;  
Хотелось устриц поесть и свершить  
Рейнвейна возлиянье.

Нашел я милое общество там  
И радостно принял в объятия  
Старинных друзей, например Шофпье;  
Тут были и новые братья.

Тут встретил я Вилле; лицо у него,  
Ей богу, альбом настоящий,  
Где академические враги  
Вписались рукой разящей.

И Фуке был тут — язычник слепой.  
Противник личный Иговы;  
Лишь в Гегеля верует он да еще,  
Чуть-чуть, в Венеру Кановы.

Хозяиничал Кампе; он раздавал,  
Весьма довольный, поклоны,  
Улыбки, и блаженством сиял,  
Как взор пресветлой Мадонны.

С большим аппетитом я ел и пил,  
В душе помышляя при этом:  
«Действительно, Кампе великий муж,  
Он стал издателей цветом.

Другой бы издатель мне дал пропасть  
От голода бессердечно,  
А этот, добрейший, меня поит;  
Его не покину вечно!

Хвалу я тебе воздаю, творец,  
Сей сок виноградный создавший  
И Юлия Кампе с небесных высот  
В издатели мне пославший.

Хвалу я тебе воздаю, творец,  
Жизнь давший своим всемогущим  
«Да будет!» рейнвейну на твердой земле  
И устрицам, в море сушим.

При этом еще ты лимон создал,  
Чтоб устрица им кропилась;  
Дай, отче, теперь, чтоб сегодня во мне  
Вся пища переварилась!»

Рейнвейн размягчает меня всегда,  
Смиряет мой дух мятежный  
И в нем зажигает огонь любви —  
Любви к человечеству нежной.

Из комнат на улицу тянет меня —  
Всю ночь прошляться: в объятья  
Там ловишь душу чужую; следишь,  
Мелькнет ли белое платье.

В такие часы расплываюсь весь,  
И сердце томится кротко,  
Все кошки кажутся серыми, и  
Еленами — все красотки.

Гуляя, я в улицу Дребан зашел  
И вижу в лунном мерцаньи  
Жену величавую пред собой, —  
С высокой грудью создание.

Лицо было кругло, здоровьем цело,  
Глаза с бирюзою схожи,

Ланиты — две розы, рот — вишня, нос  
Слегка с краснотою тоже.

Главу покрывал полотняный колпак,  
Весь белый, хитро скроенный —  
Зубчатые стены и башенки, схож  
По виду с стенной короной.

Края ее туники белой до икр —  
И что за икры! — спускались,  
А самые ноги мне парой колонн  
Дорических показались.

Лицо незнакомки носило в себе  
Обычных свойств выраженье;  
Но сверхчеловеческий зад ее  
Вещал о высшем рожденьи.

Ко мне подошла и сказала она:  
«Привет на Эльбе! Скитался  
Тринадцать ты лет, и вижу, таким,  
Как прежде, и днесь остался.

Быть может, ты ищешь прекрасных душ,  
С какими в прежние годы  
Так часто всю ночь проводил в мечтах  
Средь этой дивной природы?

Их всех поглотила чудовище-жизнь,  
Стоглавая гидра. Былого  
И милых твоих современниц, увы,  
Тебе не найти уж снова.

Тебе не найти дорогих цветов,  
Которым юной душою  
Ты нес поклоненье; увяли они,  
Развеяны бурей злою.

Увяли, иссохли, пятой судьбы  
Растоптаны жестоко ...  
Мой друг, уж таков неизменный удел  
Всего, что чисто, высоко».

«Кто ты? — я вскричал, — на меня ты глядишь,  
Как старой поры виденье!  
Великая! Где ты живешь? Получу ль  
Тебя проводить дозволение?»

С улыбкой она: «Ошибаешься ты,  
Меня такую считаешь;  
Я лучшего тона особа, вполне  
Прилична, морально чиста я.

Нет, я не мамзель какая-нибудь,  
Лоретка легкого веса.  
Узнай: богиня Гаммония я  
И Гамбурга патронесса.

Смутился ты, испуган, певец  
С такой бесстрашной душою!  
Что, все-таки хочешь меня проводить?  
Ну, следуй сейчас за мною!»

И с хохотом громким я ей отвечал:  
«Идем! За тобой я смело  
Последую всюду, хотя бы в ад  
Меня ты свести хотела!»

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как узкою лестничкой я наверх  
Попал, сказать не умею;  
Быть может незримые духи меня  
Внесли, незримо, за нею.

Здесь, в спальне Гаммонии, быстро часы  
Прошли для меня; призналась  
Богиня, что в ней неизменно ко мне  
Симпатия сохранялась.

«Ты знаешь, — сказала она, — для меня,  
Бывало, не было в мире  
Певца драгоценней того, кто воспел  
Мессию на скромной лире.

Вон там, на комод, ты видишь, стоит  
Клошптока бьют по сю пору;  
Но я уж давно обратила его  
В болван головному убору.

Любимец мой — ты; изголовье мое  
Лишь твой портрет украшает,  
И рамку лица дорогого всегда  
Зеленый лавр обвивает.

Порою, однако, — признаться должна, —  
Меня оскорблял ты больно,  
Так зло над моими сынами глумясь;  
Оставь их ныне, довольно!

Надеюсь, что время тебя от таких  
Бесчинств теперь излечило  
И больше терпимости даже к глупцам  
В душе твоей поселило.

Скажи мне, однако, как вздумал ты  
Во время столь позднее года  
Поехать на север? Ведь скоро здесь  
Уж зимняя станет погода».

«Богиня! — ответил я ей: — на дне  
Души человека таятся,  
Сном скованы, мысли, и часто они  
Не во-время пробудятся.

Наружно мне недурно жилось.  
Внутри же все с большей силой  
Тревога росла, и я занемог  
Тоской по родине милой.

И воздух французский, столь легкий всегда,  
Давить меня стал; все яснее  
Я чувствовал, — чтоб не задохнуться, мне  
В Германию надо скорее.

Я запаха жаждал болот торфяных,  
Родного табачного дыма;

Дрожала нога, нетерпеньем попать  
Немецкую землю томима.

Вздыхал по ночам я, душою летел  
Туда, к «Плотинным Воротам»,  
Где милая старушка живет,  
И в близком соседстве — Лотта.

«Вздыхал и о славном моем старике,  
Который меня беспрестанно  
Журил, но зато и добрым моим  
Защитником был постоянно.

Из уст его — «глупого мальчика» мне  
Услышать хотелось снова;  
Бывало, звучали в душе у меня,  
Как музыка, эти два слова.

Манили меня и немецкий дымок,  
Струею синей летящий,  
И нижнесаксонских соловушек трель  
В таинственной буковой чаше.

Стремился я душою в места  
Страданий прошлых, готовый  
Вновь чувство изведать, с каким тогда  
Нес крест и венец терновый.

Вновь плакать хотел я, где плакал встарь  
Слезами горчайшими в жизни.  
Мне кажется, глупая эта тоска  
И есть ведь любовь к отчизне.

О ней я не очень люблю говорить,  
По-моему, чувство это —  
Болезнь, и не больше; я раны свои  
Таю стыдливо от света.

Гадка мне та сволочь, что, с целью будить  
В сердцах умиления порывы,  
Свой патриотизм напоказ несет  
И вместе — его нарывы.

Бесстыдные нищие, грязная дрянь!  
У всякого просит подать ей  
На грош популярности, ради Христа,  
Для Менцеля с швабской братьей.

Богиня, ты видишь, сегодня я  
Настроен как-то слезливо;  
Я болен немного, но полечусь,  
Здоровье вернется живо.

Да, я нездоров, и ты помочь  
Могла бы сердцу больному  
Хорошею чашкою чаю, в нее  
Подбавив немного рому».

#### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Богиня мне подала чаю, туда  
Прибавив рому; сама же  
Пить ром принялась, не разбавив его  
И капелькой чаю даже.

К плечу моему прислонилась она  
Своей головой (чем короне  
У колпака причинила изъян),  
И в кротком сказала тоне:

«Со страхом я думала часто о том,  
Что ты один и далеко,  
Средь этих фривольных французов живешь,  
В Париже, в гнезде порока.

По улицам бродишь, и нет близ тебя  
Издателя-немца при этом,  
Который, как ментор, тебе бы служил  
Охраной, добрым советом.

А там искушения нет числа,  
На каждом шагу встречаешь  
Сильфид нездоровых, и очень легко  
Покой душевный теряешь.



Не ездите обратно, оставайтесь у нас!  
Царят здесь добрые нравы,  
Цветут и в вашей тоже среде  
Невинные игры, забавы.

Оставайтесь в Германии; все ты найдешь  
Здесь лучше, чем в прежнее время;  
Прогресс ты, конечно, заметил сам:  
Вперед ушло наше племя.

Цензура тоже совсем не строга,  
Стал Гофман мягче под старость,  
Твои «Reisebilder» не будет впредь  
Черкать его юная ярость.

И сам ты стал старше и мягче теперь,  
Со многим начнешь мириться,  
И прошлое даже должно тебе  
В ином уж свете явиться.

Есть крайность в том мнении, что шли дела  
Так скверно в нашей отчизне;  
От рабства, как некогда в Риме, спастись  
Мог каждый, лишив себя жизни.

Свободу мысли народ обладал,  
И в массах ее поощряли;  
Стесненье терпели немногие — те,  
Кто книги печатать желали.

У нас никогда не царил произвол,  
Закон соблюдался строго,  
Чиновной кокарды лишить лишь суд  
Мог даже врага-демагога.

Да, слишком скверно у нас не жилось,  
Хоть годы тяжкие были:  
Голодную смертью еще никого  
В немецкой тюрьме не убили.

В прошедшем Германии нашей есть  
Немало прекрасных явлений

Незлобья и веры; теперь настал  
Черед отрицаний, сомнений.

Дух внешней, житейской свободы уьет  
Тот идеал, что носили  
Мы в сердце своем искони, — идеал  
Чистейший, как грезы лилий.

Прекрасной поэзии гаснет огонь,  
Пылавший ярко когда-то;  
В числе князей остальных умрет  
И «Черный князь» Фрейлиграта.

Внук будет кушать и пить, но уже  
Не в благостном созерцаньи,  
Как предок; готовится шумный спектакль;  
Идиллии рухнет зданье.

О, будь ты способен к молчанью, печать  
Я с книги судеб сорвала бы,  
Грядущее в моих зеркалах  
Волшебных узреть дала бы.

Да, то, что всегда я от смертных людей  
Скрывала, тебе б я явила:  
В грядущем близком отчизну твою.  
Но — ах! — ты молчать не в силах!»

«Богиня? — в восторге я закричал, —  
Мне даст наслажденье картина  
Грядущей Германии! О, покажи!  
Молчать я могу, я мужчина!

Какой бы ты клятвой молчанья меня  
Связать ни хотела, любую  
Я с полной охотою принесу.  
Итак, назначай — какую?»

Она отвечала: «Клянись мне так,  
Как некогда клясться заставил  
Отец Авраам Эльязара, когда  
В дорогу его отправил.

Подняв одеянье мое, положив  
Ко мне под стегно свою руку,  
Клянись ни в речах, ни в писаньях впредь  
Не дать прорваться ни звуку!»

Торжественный миг! Точно древность меня  
Дыханьем объяла ныне,  
Когда по обычаю праотцов я  
Дал клятву свою богине.

Подняв одежду ее, положил  
Я к ней под стегно свою руку  
И клялся в речах и писаньях впредь  
Не дать прорваться на звуку.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Румянцем пылало богини лицо  
(Быть может, от рома к короне  
Прихлынула кровь), и сказала она  
В до крайности грустном тоне:

«Стара становлюсь я: в тот самый день,  
Как Гамбург, я свет увидала;  
Царицею рыбьей была моя мать,  
И в устьи здесь проживала.

Отец мой был славный, великий монарх;  
Carolus Magnus он звался.  
Сам Фридрих Великий, пруссаков король,  
С ним мощью, умом не сравнялся.

Тот стул, на котором венчанье приял  
Он в Ахене, там и остался;  
А стул, на котором он ночью сидел  
Жене в наследство достался.

А матушка мне завещала его.  
Он с виду невзрачен, но верьте —  
Пусть Ротшильд все деньги свои мне даст,  
Я с ним не расстанусь до смерти.

Вот, видишь старое кресло в углу,  
Ободрана кожа со спинки,  
А в мягкой подушке сиденья его  
Моль выела волосинки.

Но ты подойди, подыми на нем  
Подушку — и пред тобою  
Отверстие круглое будет; котел  
Увидишь ты под дырою.

Волшебные силы в волшебном котле  
Кипят; и, если ты вложишь  
В отверстие голову, явственно в нем  
Узреть грядущее можешь.

Увидишь Германии будущность; там  
Вся бродит она, как фантазмы;  
Но ты не пугайся, когда из котла  
Начнут вздыматься миазмы!»

Улыбкою странной окончила речь  
Богиня; я не смутился  
И в страшную дыру головой  
Пытливою опустился.

Что в ней я увидел, сказать не могу,  
Молчать я клялся. Мне тоже  
Позволено лишь чуть-чуть намекнуть,  
Чего нанюхался... Боже!

Теперь еще гадко, как вспомнится мне  
Гнуснейший пролог — испаренье.  
Казалось, это — кожи сырой  
И старой капусты смешенье.

Когда же вослед за прологом бить  
Пары настоящие стали,  
Подумал я, боже! что здесь тридцать шесть  
Навозных куч очищали.

Я знаю прекрасно — когда-то Сен-Жюст  
Сказал в Комитете Спасенья,

Что в мускусе с розовым маслом нет  
От недуга исцеленья.

Но эта грядущей Германии вонь  
Превысила все, что дотоле  
Мой нос себе представлял. Наконец,  
Не в силах сносить уж боле,

Лишился я чувств. А когда глаза  
Открыл, то рядом со мною  
Сидела богиня, и я припадал  
К широкой груди головою.

Сверкал ее взор, пылали уста,  
Дрожали ноздри; горела  
Вакхически вся и, поэта обняв,  
В экстазе диком запела:

«Есть в Тулэ король; из сокровищ своих  
Всех выше, ценнее считает  
Он кубок один; хлебнет из него, —  
Тотчас сознание теряет.

Идеями, трудно понятными нам,  
Его наполняется разум;  
В такие минуты упрятать тебя  
Он может своим указом.

Не ездь на север; не дайся тому,  
Кто в Тулэ сидит на престоле,  
Его полицейским, жандармам его  
И исторической школе.

Останься со мною, тебя я люблю,  
Мы пить здесь в Гамбурге будем  
И устриц живой современности есть,  
О темном грядущем забудем.

Закрой его крышкой, чтоб наших утех  
Отныне вонь не мрачила;  
Тебя я люблю, как поэта у нас  
Еще ни одна не любила.

Тебя я целую и чувствую, как  
Вселяет в меня вдохновенье  
Твой гений; чудесное душу мою  
Овеяло опьяненье.

Я словно на улице, песня на ней  
Ночных сторожей раздается.  
О милый мой спутник в блаженстве моем,  
То песнь Гименя поется!

Вот едет служителей конных отряд;  
Их факелы ярко пылают.  
И факельный танец танцуют они,  
Кружатся, скачут, играют.

Высокопочтенный и мудрый сенат.  
Старейшины с ним для встречи;  
Меж них бургомистр; откашлялся он,  
Готовясь к приветственной речи.

Идут и посольства при дворе  
В блестящем облачении,  
И сдержанно от соседних держав  
Приносят нам поздравленье.

Духовная депутация; в ней  
Пасторы, раввины... боже! —  
Я вижу и Гофмана в этой толпе,  
С ним ножницы цензора тоже!

Они зазвенели в руках дикаря,  
Он с ними к тебе устремился  
И в самое мясо вонзил их вдруг, —  
Ты лучшего места лишился!»

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Что этой диковинной ночью потом  
Еще свершилось, об этом  
Впоследствии я расскажу, когда  
Теплей у нас будет, летом.

Притворщиков поколение пошло  
На убыль у нас, слава богу;  
Болезнь лицемерия его  
Сведет во гроб понемногу.

И новый род народился; в нем  
Грехов и лжи не найду я;  
Свободная воля, свободная мысль!  
Ему-то все и скажу я.

Цветет уж юность; оценит она  
И честь и нежность поэта  
И будет приветливо сердцем его,  
Как солнцем жарким, согрета.

Как солнце, вселяюще сердце мое,  
Поспорит с огнем чистотою;  
Настроили Грации лиру мою  
Своей прекрасной рукою;

Та самая это лира, друзья,  
На коей отец блаженный  
Пел в годы минувшие — Аристофан,  
Любимец Камен неизменный.

Та самая лира, на коей воспел  
Он некогда Пайстетероса,  
Который, вступив с Базилеей в брак,  
В мир облачный с ней унесся.

В последней главе я слегка подражал  
Концу его «Птиц» — сочиненья,  
Которое лучше всех прочих пьес  
Отца моего, без сомненья.

Весьма хороши и «Лягушки». Их  
Теперь решили поставить  
На сцене в Берлине, чтоб короля  
Потешить и позабавить.

Король их любит. В нем развит вкус  
К античному. А, бывало

Отца его пенье новейших квакуш  
Сильней подчас забавляло.

Король их любит. Однако ж, будь  
В живых их автор поныне,  
Ему б не советовал я — самому  
Теперь явиться в Берлине.

Наверное очень бы плохо пришлось  
Живому Аристофану;  
Бедняге устроили бы у нас  
Из хоров жандармских охрану.

Чернь, вместо вилянья хвостами, могла б  
Ругать его, с дозволенья.  
Полиции было бы велено взять  
Певца под свое наблюденье.

Король! я желаю тебе добра,  
Послушай благого совета:  
Чти, сколько угодно, умерших певцов —  
Живого не тронь поэта!

Живого поэта страшись оскорблять!  
В руках его пламя и стрелы  
Ужасней Зевеса громов, что создал  
Его же вымысел смелый.

Ты волен, коль хочешь, весь мир оскорблять —  
И древних носителей света  
В полях олимпийских, и Иегову,  
Но только не трогай поэта!

Я знаю, что боги казнят за грехи  
Нешадно племя людское,  
Что пламя в аду горячо весьма, —  
Там нас превращают в жаркое.

Но есть и святые, — из ада они  
Молитвами нас выводят;  
Дары по церквам, панихиды порой,  
Ходатаев в небе находят.



В день судный придет, наконец, Христос,  
Он ада врата одолеет,  
Хоть будет строг его суд, — ускользнуть  
Молодчиков много успеет.

Но есть другие геенны, из них  
Уже невозможно спасенье;  
Бесплодны молитвы, бессильно помочь  
Спасителя всепрощенье.

О Дантовом «Аде», терцинах его  
Ужасных слышал, быть может?  
Тому, кто поэтом туда заточен,  
Тому и бог не поможет.

От этих поющих огней не даст  
Спаситель сам избавленья ...  
Смотри, чтоб нам не обречь тебя  
На этого ада мученья!

